

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Владимир Богомоллов

ИВАН
•
ЗОСЯ



Школьная библиотека (Детская литература)

Владимир Богомоллов

Иван. Зося

Издательство «Детская литература»

1958, 1963

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Богомолов В. О.

Иван. Зося / В. О. Богомолов — Издательство «Детская литература», 1958, 1963 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-007048-8

Широко известные повести о Великой Отечественной войне. Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-007048-8

© Богомолов В. О., 1958, 1963
© Издательство «Детская литература», 1958, 1963

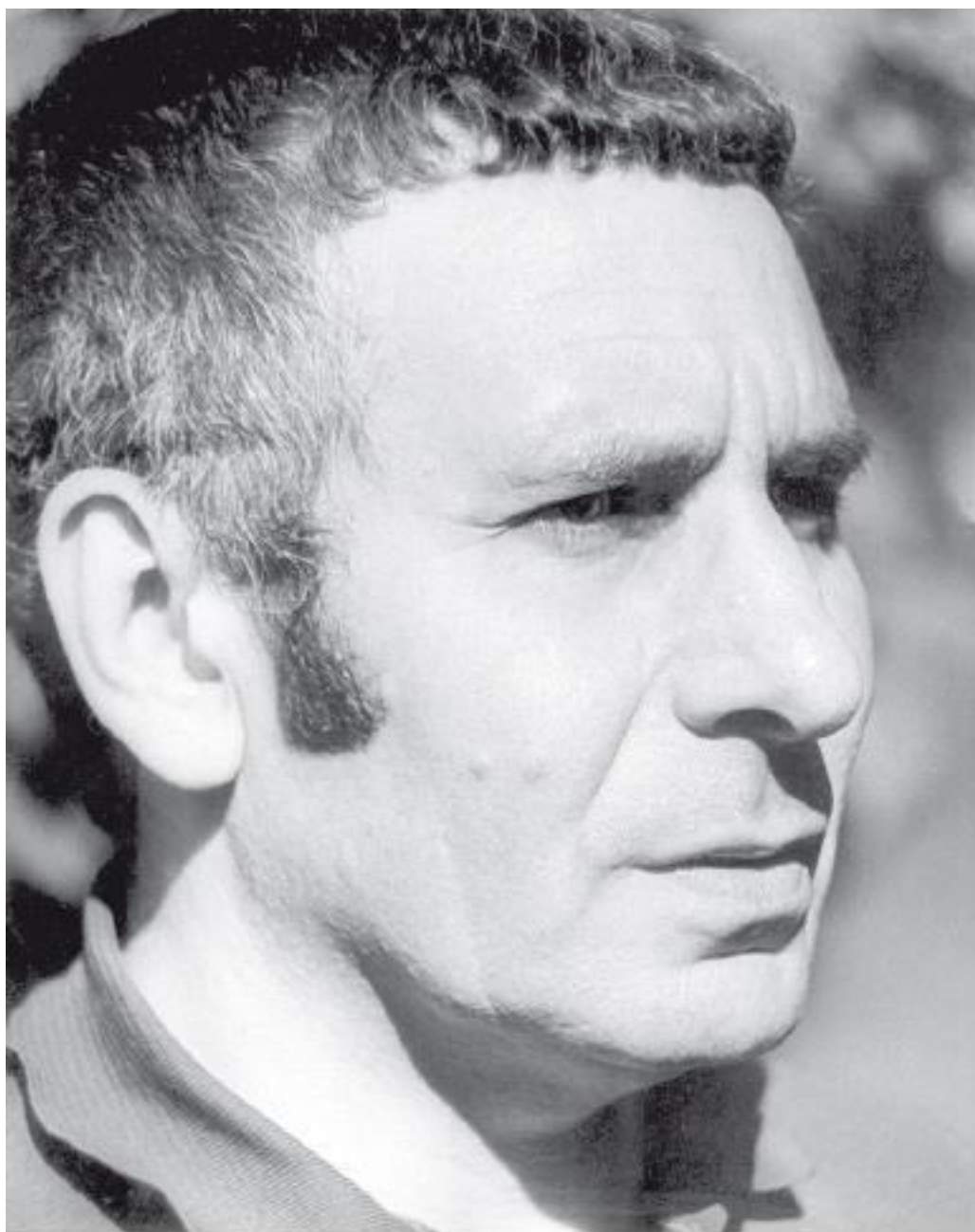
Содержание

Эта забытая далекая война...	8
Иван	10
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Владимир Богомолов Иван. Зося



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Богомолов

1926–2003

*Художники
О. Верейский и А. Рытман*

- © Богомолов В. О., наследники, 2001
- © Дедков И. А., наследники, предисловие, 1981
- © Верейский О. Г., наследники, иллюстрации, 1972
- © Рытман А. А., иллюстрации, 2023
- © Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2023

Эта незабытая далекая война...

Захватывающие картины боя, грохот танков, ураганная стрельба... Ничего этого здесь не будет.

«Иван» и «Зося» – это война, но другие ее мгновения: почти тихие, почти мирные.

Подложив ладошку под щеку, укутанный в одеяла, засыпает во фронтовой землянке маленький мальчик... Медом и яблоками пахнет в июльском саду, и юная Зося, напевая и пританцовывая, идет через сад по тропинке...

Почти тихие мгновения, но всё той же войны, отнявшей у нашего народа более двадцати миллионов жизней. Жестокая, разрушающая и убивающая сила нависает над этими мгновениями. Как хрупко, как призрачно-кратко всё тихое, мирное, прекрасное... И милый образ детства – лишь мелькнет, и первая любовь – оборвется... И никакого будущего нет у этого спящего мальчика, а в яблоневом саду на столике у влюбленного молоденького начштаба двести три заполненные похоронки, и недолго ждать нового боя.

Человек, написавший эту книгу, считает своим долгом рассказывать о войне так, чтобы те, кто не вернулся, не могли бы упрекнуть его в неправде. Он не дает воли вымыслу, и если он о чем-то говорит, то знает это твердо. То, что было, – было! – и это главное, с чем нужно считаться. Он хочет, чтобы мы все, живущие в холе и тепле благополучного мира, ощутили сильнее, как много мужества и духовной стойкости потребовала от человека та война. И сколько горечи и боли за страдания своих близких, своего народа, за истерзанную, изуродованную жизнь нес в себе такой мужественный человек. И еще он хочет, чтобы мы почувствовали, как спасительна для человеческого естества эта боль, нестихающая, неутолимая, непростящая...

Владимир Богомолов воевал совсем юным, был ранен, не раз награжден; позади остались фронтовые дороги Белоруссии, Польши, Германии, Маньчжурии. Его роман о военных контрразведчиках («В августе сорок четвертого...»), впервые опубликованный в 1974 году, приоткрыл нам область воинской деятельности, с которой автор был хорошо знаком. Этот роман, как и написанные ранее повести «Иван» и «Зося», принадлежит к числу лучших произведений нашей литературы о Великой Отечественной войне.

«Иван» – повесть о двенадцатилетнем мальчике. Его редко называют Ванюшей, Ванюшкой. Взрослые сдержанны, ласковые слова малоуместны: нельзя же жалеть мальчонку, а потом отпускать, снаряжать туда, где не им, а ему предстоит рисковать жизнью... Взрослые, боевые офицеры как бы даже стесняются Ивана, им неловко, беспокойно, не по себе. В них неустрашимо живет горькое знание: мы-то, сильные, вооруженные, здесь, среди своих, а он, полураздетый, полуголодный, беззащитный, скитается там, во вражьем тылу, за вершок от смерти. И ничего не возможно поделать, ничего нельзя изменить. Эта «недетская сосредоточенность» взгляда, эта медленная еда без большой охоты, словно он отвык есть, словно какое-то внутреннее напряжение держит и не отпускает его... Ивана не остановить, не вразумить, не спрятать от войны. Он видел столько страшного, что не может жить нормально, по-детски, пока это страшное не будет уничтожено. Он снова и снова уходит туда. Он должен туда уходить. Он надеется, что всегда будет туда уходить и возвращаться. Уходить и возвращаться, пока не кончится война. Ему хочется жить, но не настолько, чтобы послушаться взрослых, уехать в глубь страны, учиться, расти, набираться сил. Об Иване говорят, что ему «ненависть душу жжет». Наверное, этот мальчик очень любил отца, сестренку, маму. Наверное, то, что он видел и пережил, не поддается словам. Писатель и не ищет таких слов, боясь неправды. Он полагается на наше воображение. Он знает: оно содрогнется, пытаясь представить себе этот ужас. В. Богомолов не описывает катастрофы счастливого детского мира, мира любви и надежды. Он позволяет нам увидеть последствия катастрофы. И этот невидимый, сжигающий пламень ненависти.

Когда никого нет, Иван играет в землянке, как все мальчишки на свете во все времена. В землянке беспорядок, мальчик разгорячен, в руке нож, на груди бинокль... Похоже, что, даже играя, он продолжает рассчитывать с врагом, волшебно могущественный и неуязвимый. «А во что же ему еще играть? – мог бы спросить нас писатель. – Во что?»

Нет, не приключения храброго юного разведчика, неуловимого мстителя в тылу врага написал Владимир Богомолов, хотя мог бы, мог бы... Он исходил из того, что детям на войне делать нечего, и если там нашлось для них дело, то это несчастье, беда, и повода для восхищения и подражания тут нет. Он написал об Иване с любовью и нежностью. Он заставляет и наши сердца сжиматься от горечи и любви, от смешанного чувства жалости и гордости.

Повесть построена так, что мы видим Ивана глазами молодого старшего лейтенанта Гальцева. Это добрые и внимательные глаза. Им хорошо открыто главное: трагическая судьба детской жизни в дни войны. Когда-то Ф. М. Достоевский писал о неискупимых слезинках ребенка. В истории Ивана Буслова нет слез, но страдания его тоже из неискупимых.

На войне нужны твердые люди. Это известно. «Неврастеник ты, лечиться надо», – подшучивает над Гальцевым офицер разведотдела Холин. «Гнилой сентиментализм», – сердится на героя повести «Зося» его сверстник, комбат Вайков. Автор уважает твердость Холина и Байкова, он любит и ценит их, но твердость в его понимании много надежнее и приемлемее, когда соединена с человечностью и нравственной чистотой.

В. Богомолов хорошо знает, что война не способствует расцвету тонких и нежных чувств. Но в «Зосе» он рассказывает о том, что грубость и ожесточение, насаждаемые войной, не в силах опустошить, упростить человеческое сердце. Наперекор всему в паузе между боями, в какие-то фантастически нормальные дни вспыхивает чистейшая первая юношеская любовь с быстрым и робким касанием взглядов, с ее тревогой, отчаянием, надеждой, с потрясающим ощущением единственности и неповторимости происходящего... Что ей война, что ей вся невозможность счастья, что ей уроки пошлости! Она явилась и осталась навсегда в благодарной памяти, и каждый узнаёт ее, кто знал ее, кто ждет ее и предчувствует.

Вот тихие мгновения войны, когда в воюющем мужественном человеке оживает всё, что было стиснуто, притуплено, оглушено. Он видит, как прекрасны река, трава, сад, небо, он читает стихи, он вспоминает дом своего детства. Он не в состоянии заполнять бланки похоронок казенными словами. Он еще видит этих ребят живыми. Ему неумолимо повторять каллиграфически исполненный образец с официальным обращением: «Гр-ке...», и он ищет слов проще и человечнее, чтобы смягчить эту сухость. Должно быть, когда все это происходит в человеке, что-то отражается на его лице. Мы не видим этого лица, но оно открыто Зосе, и Зося предпочитает всем лицам это лицо. Всем мужественным, прокаленным, бывалым – это, и мы догадываемся, какое оно. Зося ошибается, принимая стихи за молитву, но почувствовала она верно: этот русский офицер из людей верующих. Он из тех, что верят в красоту мира, в добрые и чистые чувства, в силу поэзии, в необходимость сострадания.

В начале рассказа герой оговаривается: «Был я тогда совсем еще мальчишка, мечтательный и во многом несмышленный...» Но прошли годы и годы, а чувство, пережитое несмышленной мальчишкой, так и не забылось, и ничто не смогло заслонить в памяти польскую девочку Зосю из сада, где пахло яблоками и медом, а в кузове «доджа» на сене спали усталые русские лейтенанты...

Читая Владимира Богомолова, понимаешь: этому писателю и человеку можно верить. Он говорит о войне с чувством ответственности и боли: «Я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто-нибудь не вернулся...»

Игорь Дедков

Иван

Повесть



1



В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

– Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... – Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. – Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

– Зажгите лампу! – скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплюсненную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

– Ползал в воде возле берега. Зачем – не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку. У самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

– Иди стань к печке! – велел я ему. – Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

– Кто ты такой? – повторил я.

– Пусть он выйдет, – клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

– Подложите дров и ожидайте наверху! – приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

– Ну что же молчишь? Откуда ты?

– Я Бондарев, – произнес он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. – Сейчас же сообщите в штаб, «пятьдесят первому», что я нахожусь здесь.

– Ишь ты! – Я не мог сдержать улыбки. – Ну а дальше?

– Дальше вас не касается. Они сделают сами.

– Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой «пятьдесят первый»?

– В штаб армии.

– А кто это – «пятьдесят первый»?

Он молчал.

– Штаб какой армии тебе нужен?

– Полевая почта вэ-че сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

– Сними с себя все и разотрись. Живо! – приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

– Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

– И штаны снимай! – скомандовал я. – Ты что, стесняешься?

Он, так же молча повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не детские сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол, к дверям.

– А сушить кто будет – дядя? – поинтересовался я.

– Мне всё привезут.

– Вот как! – усомнился я. – А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне – меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынный, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

– Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

– Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? – повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

– Это вас не касается. И не смейте кричать! – ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. – Ваше дело – доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

– Ты меня не учи! – раздражаясь, прикрикнул я на него. – Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

– Вы будете отвечать! – с явной угрозой заявил он.

– Ты меня не пугай, – ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

– Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! – объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

– Ты будешь говорить?

– Вы должны сейчас же доложить в штаб «пятьдесят первому», что я нахожусь здесь, – упрямо повторил он.

– Я тебе ничего не должен, – сказал я раздраженно. – И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это – «пятьдесят первый»?

Он молчал, сбывшись, сосредоточенно.

– Откуда ты?.. – с трудом сдерживаясь, спросил я. – Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы – напряженного раздумья – он выдал сквозь зубы:

– С того берега.

– С того берега? – Я не поверил. – А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

– Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать – вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только «пятьдесят первый». Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И всё! За мной приедут! – убежденно выкрикнул он.

– Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? – за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

– «Третий» слушает. – Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

– Товарищ капитан, «восьмой» докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

– Бондарев?.. – переспросил Маслов удивленно. – Какой Бондарев? Майор из оперативного,веряющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? – засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

– Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требуется, чтобы я доложил в «Волгу» «пятьдесят первому», что он находится у меня.

– А кто это – «пятьдесят первый»?

– Я думал, вы знаете.

– Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

– Звания у него нет, – невольно улыбаясь, сказал я. – Это мальчик... понимаете, мальчик лет двенадцати...

– Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! – заорал в трубку Маслов. – Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

– Товарищ капитан! – закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. – Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

– Не знаю и знать не желаю! – кричал Маслов запальчиво. – И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

– Так я думал...

– А ты не думай!

– Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

– Что делать?.. А как он к тебе попал?

– Задержан на берегу охранением.

– А на берег как он попал?

– Как я понял... – Я на мгновение замялся. – Говорит, что с той стороны.

– «Говорит»! – передразнил Маслов. – На ковче-самолете? Он тебе плетет, а ты и развесил уши. Приставь к нему часового! – приказал он. – И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции – пусть занимается...

– Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же «пятьдесят первому», – вдруг решительно и громко произнес мальчик, – он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов – кстати, самый молодой из моих полковых начальников – не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

– Ты просил, чтобы я доложил о тебе, – я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, – приврал я, – и приставить охрану. Доволен?

– Я сказал вам доложить в штаб армии «пятьдесят первому», а вы куда звонили?

– Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

– Давайте я позвоню. – Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

– Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

– Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

– Откуда ты его знаешь?

Молчание.

– Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

– Капитана Холина.

Холин – офицер разведывательного отдела штабарма – также был мне известен.

– Откуда ты их знаешь?

– Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, – не ответив, потребовал мальчишка, – или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

– «Восьмой» беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, – твердо заявил я, стараясь подавить волнение. – Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

– Откуда он их знает? – спросил Маслов устало.

– Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

– Если считаешь, что нужно, – докладывай, – с каким-то безразличием сказал Маслов. – Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несolidно!

– Так разрешите мне позвонить?

– Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

– Ясно, – прервал меня Дунаев. – Ожидайте. Я доложу.

Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

– «Восьмой»?.. Говорите с «Волгой», – сказал телефонист.

– Гальцев?.. Здоро€во, Гальцев! – Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. – Бондарев у тебя?

– Здесь, товарищ подполковник!

– Молодец! – Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. – Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем – никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним; думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделикатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет – в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

– Так точно! – ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

– Кушать хочешь? – спросил я прежде всего.

– Потом, – промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою – иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

– Да я не буду, не буду смотреть, – поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а была половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного – расторопного бойца из пятой роты – для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2...4, 5...» Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.



Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши – давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, – не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан, – а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, посплюнув, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному – он ожидал близ землянки – и приказал:

– Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено, – как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

– Давай я спину тебе потру, – не выдержав, предложил я нерешительно.

– Я сам! – отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку – он должен был ее надеть, – и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин – пшеничную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок, затем так же молча выпил кружку очень сладкого – я не пожалел сахара – чая с печеньем из моего допайка и поднялся, вымолвив тихо:

– Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

2

Стараясь не шуметь, я собрался: надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат – и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу, – ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными оче-

редями: по ночам немцы методично, – как говорил наш командир полка, «для профилактики», – каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и саму реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плёс Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении – я учил его чуть ли не наизусть, – в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже +15°, а если примерно +5°?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

– Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом разобрались? – глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемета, и не курил.

– А что такое? – поинтересовался я, настораживаясь.

– Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец – его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

– Да, мутность есть вроде, – подтвердил другой не очень уверенно. – Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

– Мальчишка из Новосёлки, – неторопливо затянувшись, соврал я (Новосёлки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). – У него немцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

– Вон оно что!..

– Тоскует, бедолага, – понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет сигарки освещал его широкое, темное, поросшее щетиной лицо. – Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, – мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

– Бдительный я, – глухим голосом упрямо объявил Юрлов. – И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одёжа его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю – подозрительно!..

– Ишь, спрашивает, как с подчиненного! – усмехнулся пожилой. – Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно: легкий пар шел изо рта.

– Еще не приехали? – в упор спросил мальчик.

– Нет. Ты спи, спи. Приедут – я тебя разбужу.

– А он дошел?

– Кто – он? – не понял я.

– Боец. С пакетом.

– Дошел, – сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

– Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

– Нет, не слышал. А что?

– Так. Раньше не говорил. А сейчас – не знаю. Нервеность во мне какая-то, – огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

– Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей – несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

– ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

– В Диковке немцев – к берегу не подойдешь, – сказал мальчик, виновато улыбаясь. – Я плыл от Сосновки. Знаешь, на середке выбился, да еще судорога прихватила – думал, конец...

– Так ты что – вплавь?! – изумленно вскричал Холин.

– На полене. Ты не ругайся – так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу, – мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

– Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить – нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «Вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника – их в полку было несколько, – только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

– Ну, где ты пропал? – однако сказал он, выказывая недовольство. – Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчишковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

– Со свиданьем! – весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

– За то, чтоб я всегда возвращался, – задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

– За то, чтобы ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

– Нет, это потом! – запротестовал мальчик. – А пока война – за то, чтоб я всегда возвращался! – упрямо повторил он.

– Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

– Ты ешь давай, ешь! – приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

– Отвык помногу... – вздохнул мальчик. – Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал»: мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

– Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на серединку стола, предложил нам:

– Угощайтесь.

– Нет, брат, – отказался Холин. – После водки не в цвет.

– Тогда поехали, – вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. – Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! – потребовал он.

– Сейчас поедem, – с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. – Сейчас поедem, – повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

– Вот черт, велика!

– Меньше не было. Я сам выбирал, – словно оправдываясь, пояснил Холин. – Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

– Сколько же добра пропадает, а!..

– Оставь ему! – сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. – Ты что, голодный?

– Ну что ты!.. Просто фляжка – табельное имущество, – отшутился Холин. – И конфеты ему ни к чему...

– Не будь жмотом!

– Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. – снова вздохнул Холин и обратился ко мне: – Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

– А в машине сена – целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся – и до самого штаба.

– Ну, Ванюша, прощай! – Я протянул руку мальчику.

– Не «прощай», а «до свидания»! – строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлюбья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

– Родионов, – тихо позвал я часового.

– Я, товарищ старший лейтенант! – послышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

– Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

– Слушаюсь! – Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом: никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее:

– Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, послышался короткий разговор вполголоса – Холин разбудил водителя, – заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов – командир взвода из разведроты дивизии – появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатичным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромный, тихий и неприметный. Говорит, заметно шепелявя, – может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев – эти дни я не раздумал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь

это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной, с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду, когда же пришлют настоящего командира батальона – пусть он отдувается!



Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

– Ты чего, ко мне? – оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП¹ и оказывать содействие.

– К вам, – говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь. – Немца бы посмотреть...

– Ну что ж... посмотри, – помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

¹ НП – наблюдательный пункт.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плёсом Днепра – сумрачного, шербатого на ветру – вражеский берег. Вдоль кромки воды – узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега – пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением – я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном – тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

– Ляхов и Мороз, – не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа – пять человек – ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на mine, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое – Ляхов (в тельняшке) и Мороз – залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

– Забрать их надо бы... – закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

– Ванюшка-то?.. – Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. – Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталья была.

– Что такое?

– Да разве ж война – занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся – и ни в какую. Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

– Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

– Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют – сам уйдет. Уже ушел раз... – Вздыхнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается: – Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? – указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» – стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

– Ты мне понадобишься! – предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

– ...к тебе подъедет Катасонов – поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, – наказывает Холин. – И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка – самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я собираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

– Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало наслышан от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело² и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит невдалеке под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом – Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

– Ну ладно, давай! – говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. – Посмотрите всё хорошенько и отдыхайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежестрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения – траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночами такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты – основной и вспомогательные. Я показываю.

– Тишина-то какая! – не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега: отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладонке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

– А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

² Подённое дело – дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

– Мальчик? – рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. – А-а, Иван!.. Много будешь знать – скоро состаришься! – отшучивается он и предлагает: – Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем чуть пригнувшись, и кажется – конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного – и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин – под настроение – любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

– Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь да божья благодать!..

– Курорт! – мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый сутулый боец в ватных куртке и брюках.

Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд – выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

– Снайпер? – спрашивает Холин.

– Курорт, – угрюмо повторяет Чупахин. – Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

... Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

– Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? – спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

– Знаю.

– И что же, не можешь их вытащить? – говорит он с недовольством и презрительно. – На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

– Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

– Подробности в афишах! – хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона.

Я, не раздумывая, следую за ним.

– Ты мне больше не нужен! – вдруг объявляет он, не оборачиваясь.

И я останавливаюсь, растерянно смотрю ему в спину и поворачиваю назад, к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

– Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться...

Я звоню командиру полка.

– Как там у тебя? – прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

– Нормально, товарищ майор.

– Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..»

Меж тем майор, помолчав, добавляет:

– Это приказание «Волги». Мне «сто первый» звонил...

«Волга» – штаб армии; «сто первый» – командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! – думаю я. – А бегать за Холиным я не буду! Что попросит – сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться – это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, открыты и оборудованы еще немцами, – понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер – статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами – в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков – старенький, страдавший астмой военфельдшер, – погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма – стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах – все ей очень идет. Военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б, влюбился и, ответив она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»³, а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

³ Проверка по «форме двадцать» – осмотр личного состава подразделения на вшивость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.